

## В родном краю

### 1.

Уже полтора года я работаю врачом в небольшом городе N., районном центре одной из прилежащих к Москве областей. Пора подытожить свои впечатления.

Первое и самое ужасное: у больных, да и у многих врачей, сильнее всего выражены два чувства — страх смерти и нелюбовь к жизни. Обдумывать будущее не хотят: пусть все остается по-старому. Не жизнь, а доживание. По праздникам веселятся, пьют и поют, но если заглянуть им в глаза, то никакого веселья вы там не найдете. Критический аортальный стеноз, надо делать операцию. Или не надо лежать в больнице. — Что же мне — умирать? — Да, получается, что умирать. Нет, умирать не хочет, но и ехать в областной центр, добиваться, суетиться тоже. — Мне уже пятьдесят пять, я уже пожил (пожила). — Чего же вы хотите? — Инвалидности: на группу хочу. В возможность здоровья не верит, пусть будут лекарства бесплатные. — Доктор, я до пенсии хоть доживу? (Не доживают до пенсии неудачники, а дожил — жизнь состоялась.)

Второе: власть поделена между деньгами и алкоголем, то есть между двумя воплощениями Ничего, пустоты, смерти. Многим кажется, что проблемы можно решить с помощью денег, это почти никогда не верно. Как с их помощью пробудить интерес к жизни, к любви? И тогда вступает в свои права алкоголь. Он производит такое, например, действие: недавно со второго этажа выпал двухлетний ребенок по имени Федя. Пьяная мать и ее boyfriend, то есть *сожитель*, втащили Федю в дом и заперлись. Соседи, к счастью, все видели и вызвали милицию. Та сломала дверь, и ребенок оказался в больнице. Мать, как положено, голосит в коридоре. Разрыв селезенки, селезенку удалили, Федя жив и даже сам у себя удалил дыхательную трубку (не уследили, были заняты другой операцией), а потом и катетер из вены выдернул.

Третье: почти во всех семьях — в недавнем прошлом случаи насильственной смерти. Утопление, взрывы петард, убийства, исчезновения в Москве. Все это создает тот фон, на котором разворачивается жизнь и нашей семьи, в частности. Нередко приходится иметь дело с женщинами, похоронившими обоих своих взрослых детей.

Четвертое: почти не видел людей, увлеченных работой, вообще делом, а от этой расслабленности и невозможность сосредоточиться на собствен-

ном лечении. Трудно и со всеми этими названиями лекарств (торговыми, международными), и с дозами: чтобы принять 25 мг, надо таблетку 50 мг разделить пополам, а таблетку 100 мг — на четыре части. Сложно, неохота возиться. Взвешиваться каждый день, при увеличении веса принимать двойную дозу мочегонных — невыполнимо. Нет весов, а то соображение, что их можно купить, не приходит в голову, дело не в деньгах. Люди *практически неграмотны*, они умеют складывать буквы в слова, но на деле это умение не применяют. Самый частый ответ на предложение прочесть крупный печатный текст с моими рекомендациями: «Я без очков». Ну раз без очков, то значит, сегодня ничего читать не собиралась, это и есть неграмотность. Еще одна проба: поняли, куда ехать, поняли, что надо на меня сослаться? — Вроде, да. — А как меня зовут? Зло: — Откуда я знаю?

Пятое: оказалось, что дружба — феномен интеллигентский. Так называемые простые люди друзей не имеют: ни разу меня не спрашивал о состоянии больных кто-нибудь, кроме их родственников. Отсутствует взаимопомощь, мы самые большие индивидуалисты, каких себе можно представить. Кажется, у нации нет инстинкта самосохранения. Юдоль: проще умереть, чем попросить соседа довезти до Москвы. Жены нет, а друзья? Таких нет. Брат есть, но в Москве, где-то был его телефон.

Шестое: мужчина — почти всегда идиот. Мужчина с сердечной недостаточностью, если за ним не ходит по пятам жена, обречен на скорую гибель. Начинается этот идиотизм уже в юношеском возрасте и затем прогрессирует, даже если мужчина становится главным инженером или, к примеру, агрономом.

Мужчина, заботящийся о близких, — редкость, и тем большее уважение он вызывает. Одного из них, Алексея Ивановича, я лечу — он добился, чтобы жене пересадили почку, продал все, что у них было, потратил сорок тысяч долларов. Обычно иначе: Бог дал — Бог взял, девять дней, сорок.

Противны *выбившиеся в люди*. На днях приходила одна такая с недавним передним инфарктом. Мужним воровством построила рядом с нами большой каменный дом. Во мне она видит равного или почти равного и потому сначала жалуется, что ее растрясло, «хотя машина хорошая, Вольво», а потом ведет такой разговор: «Мне сейчас надо внука отправить на Кипр к дочери, она там учится. Кипр, знаете, очень испортился, слишком много голубых». И все в таком роде. Кстати, обстановочка, в общем, асексуальная, не то что в иных московских клиниках, где тяга полов прямо-таки разлита в воздухе.

Еще одно: у нас почти не лечат стариков. Ей семьдесят лет, чего вы хотите? Того же, чего и для двадцатипятилетней. Вспомнил трясущуюся старушку в магазине. Кряхтя, она выбирала кусочки сыра, маслица, колбаски,

как говорят, *половчее*, то есть подешевле. За ней собралась очередь, и продавщица, молодая белая баба, с чувством сказала: «Я вот до такого точно не доживу!» Старушка вдруг подняла голову и твердо произнесла: «Доживете. И очень скоро». В Спарте с немощными обходились еще рациональнее — что осталось от Спарты, кроме нескольких анекдотов? Создается впечатление, что мы экономим какие-то ресурсы, усилия для лечения молодых, это неверно. Старика пытаются лечить, если он *социально значимый* (отец начальника электросетей, мать замглавы администрации).

Вообще же старушки интереснее всех. Недавно полночи ставил временный кардиостимулятор; когда наконец все получилось, пожал руку своему помощнику, и тогда полубездыханная прежде старушка тоже протянула мне руку: «А мне?» — и крепко пожала.

Вечная присказка: «Хорошо вам говорить, Максим Александрович». На деле это значит — хорошо вам, Максим Александрович, вам не лень делать то или другое.

Роль Церкви в жизни больных и больницы ничтожна. Нет даже внешних атрибутов благочестия, вроде иконок на тумбочках. Все, однако, крещеные, у всех на шее крестики, в том числе у страшного человека по имени Ульрих. Ульрих расстрелял своими руками шестьдесят восемь человек (националистов на Украине, бандитов после амнистии 1953 года и так, «по мелочи»), водитель, ветеринар, целитель, внештатный сотрудник госбезопасности (вероятно, врет). Имеет табельное оружие, пистолет Стечкина (опять-таки, если не вранье). Удар полтонны, на днях выбил взрослому сыну передние зубы. Должен быть порядок. Порядок должен быть, а кто не будет его соблюдать, того остановим кулаком или, если понадобится, пулей. Пенсия две семьсот. Как же госбезопасность, не помогает? Нет, это добровольно. Говорить с Ульрихом страшно: того и гляди, возьмется за Стечкина. А сумасшествие (бывшая жена занимается черной магией, офис в Москве, вредит ему и все в таком духе — карма, дыхательные аппараты, магниты) — следствие совершенного зла, а не наоборот. Но такие больные — редкость, в основном люди миролюбивы.

Идиотизм власти (областной, московской) даже не обсуждается, обсуждаются только способы ее обмана. Из-за этого происходят истории, для описания которых нужен гений Петрушевской. Вот одна из них: есть распоряжение, что ампутированные конечности нельзя уничтожать (например, сжигать), а надо хоронить на кладбище. Несознательные одноногие граждане своих ампутированных ног не забирают, в результате в морге недавно скопилось семь отрезанных ног. Пришлось дожидаться похорон бездомного (за казенный счет, без свидетелей) и положить их ему в могилу.

Что же хорошего я вижу? Свободу помочь многим людям. Даже если помощь останется невоспринятой — дать возможность помощи. Отсутствие препятствий со стороны врачей, администрации. Хочешь палату интенсивной терапии — пожалуйста. Хочешь привозить лекарства и раздавать их — то же. Хочешь положить больного, чтобы мать-алкоголичка оставила его в покое, — клади. Помогает и отсутствие традиций. В отличие от других провинциальных городов N. не живет традициями.

Ксенофобии тоже, в общем, нет, хотя на днях пришлось содрать с двери магазина типографским способом напечатанную листовку «Сохраним N. белым городом». При том что, по моим наблюдениям, все, кто хочет что-то сделать для больницы, — приезжие. Есть большая терпимость, в том числе, увы, к совершенно нетерпимым вещам, вроде торговли героином, и совсем нет осуждения. Ясно, что москвичи воры, и пусть.

Есть уважение к книгам, знанию, опыту жизни в большом мире, но нет зависти. Что с того, что больные не соглашаются на операцию на сердце, — а кому ее хочется себе делать? Да тут еще областные светила объяснят, что делать ничего не надо. Каждый такой случай воспринимается как врачебная неудача, неэффективное действие, провал. Поэтому и приходится вешать дипломы на стенку, а главное — стараться, напрягаться, отдаваться разговору и вообще встрече с человеком.

Радует если еще не жажда, то уже готовность к деятельности у людей, недавно казавшихся безнадежными. Еще — ощущение герметичности происходящего (все попадают в одну больницу): становится известным продолжение любой истории, что добавляет ответственности.

Есть радость встречи: недавно лечил худенькую веселую девяностолетнюю Александру Ивановну (отец-священник погиб в лагере, мать умерла от голода, осталась без образования, была воспитательницей в детском саду), человека, более близкого к святости, я не встречал. Как с гениальностью — такие вещи угадываются, но их невозможно пересказать. Говорю ей: у вас опасная болезнь (инфаркт миокарда), придется остаться в больнице. Она весело: птичий грипп?

На днях получил привет от своего прадеда, умершего вскоре после моего рождения: обратил внимание на красивое и редкое имя больной — Руфь. «Руфь-чужестранка», — сказал я ей, и она ответила: «Только один врач отметил мое имя и очень меня за него полюбил, я и дома у него бывала». Этот врач — мой прадед, после лагеря он жил на 101-м километре, до смерти — в городе N. Теперь на 101-й километр не посылают, надо об этом побеспокоиться самому.

Еще, конечно, нравится ощущение своего города, нравится, когда раскланиваются на улице. Молодец среди овец? Пусть, это лучше, чем овца среди овец. Тем более что скоро появится еще молодец, а там, глядишь, и еще.

Из сказанного ясно, что я счастлив работать в городе N.

*апрель 2006 г.*

## 2.

Прошел еще один год моей провинциальной жизни, многое изменилось, в большой мере — из-за обещанного выше молодца, моего молодого коллеги и друга. Вдвоем мы так ловко справляемся, что больных стало едва хватать. Смертность в больнице уменьшилась вдвое. Возможностей помочь становится все больше, свободу никто не ограничивает, грех жаловаться. Анонимный олигарх подарил нам чудесный аппарат. Работа становится врачевнее, ближе к идеалу, хотя еще очень далека от него. Исчезает сентиментальность (когда навязывают роль благодетеля и вообще хорошего человека). Если бы этого всего не случилось, то пришлось бы рассматривать город N. как уступку энтропии, как последнее пристанище доктора Живаго: не всякий, кто Москву оставил, — Кутузов. С другой стороны, первичная радость встречи (с людьми, с городом) прошла, приветов от прадеда больше не поступало, взгляд на окружающее стал более трезвым, а оттого — мрачным. Из-за попыток расширения деятельности на соседние с N. районы все чаще приходится видеть начальство — районное, областное, московское. Это, как говорит коллега, «не добавляет». В отличие от зла, всегда образующего положительную обратную связь (страх — удушье — еще больший страх и так далее), осмысленная деятельность сопровождается растущими трудностями.

Медицина. Медицинская помощь на Руси, как и прежде, очень доступна, но не очень-то действенна: «Верите ли, — сказал доктор ни громким, ни тихим голосом... что я никогда из корысти не лечу... Конечно, я бы приставил ваш нос, но это будет гораздо хуже. Предоставьте лучше действию самой природы. Мойте чаще холодной водою, и я вас уверяю, что вы, не имея носа, будете так же здоровы, как если бы имели его». Так примерно лечат и теперь: за пять лет в России меняется многое, за двести лет — ничего. Врачи и больные по-прежнему отлично подходят друг другу. И вдруг появляемся мы, и пошло-поехало: один принимает много варфарина, не делая анализов, просто когда плохо себя чувствует, — у него тяжелое кровотечение, другой после протезирования клапана бросает принимать варфарин — у него тромбоэмболия бедренной артерии (можно сказать, повезло).

Причина в обоих случаях — алкоголизм и мужской идиотизм. Который, в частности, проявляется так: подавляющее большинство мужчин в ответ на вопрос «Что беспокоит вас?» отвечают с раздражением: «Да вот, понимаешь, направили к кардиологу».

Главная проблема нашей медицины — отсутствие лечащего врача. Больной слушает (если вообще слушает) последнего, к кому попадет. В больнице назначили одно, в поликлинике другое, в областной больнице третье, а в Москве сказали, что надо делать операцию. Кого слушать? Того, кто понравился, кто лучше утешил, кто взял больше денег? Или того, у кого громче звание? Как может профессор (академик, главный специалист, заслуженный врач) говорить глупости? Помню детский свой ужас, когда открылось, что взрослые могут быть дураками; многие мои больные до сих пор не сделали этого открытия, оттого и попадают в затруднительные положения.

Врач тоже не понимает, в какой роли находится: то ли он что-то решает, то ли так, должен высказать мнение. В теории лечащий врач — участковый, но он служит в основном для выписывания рецептов и больничных листов, часто пьет и презирает работу и себя самого. (Чехов в записных книжках называет уездного врача неискренним семинаристом и византийцем, это не вполне понятно.) Участковый врач давно отвык принимать решения («да» и «нет» не говорите, черный-белый не берите) и обращается с больным так: «Сердце болит при быстрой ходьбе? А куда вам торопиться?» Как ни странно, такой ответ устраивает.

Не хватает не больниц, не лекарств — нет линии поведения, нет единой системы апеллирования к источникам научного знания, нет системы доказательств и нет потребности в этой системе. Конечно, кое-кому удастся помочь, каждый раз как бы случайно. Важно ведь именно превращение искусства в ремесло — в этом и состоит прогресс. А так — да мало ли что вообще в стране делают? Вот недавно в Петербурге женщине пересадили легкие — можно ли сказать, что у нас *делают* пересадку легких? В каких-то отношениях ситуация безнадежнее, чем в экваториальной Африке: туда, где нет ничего, можно кое-что привезти — лекарства, аппаратуру, врачей, и они, глядишь, там приживутся, что-то появится, а у нас — развитое законодательство, которое все эффективнее защищает нас от перемен к лучшему. Сколько человеку жить, надо ли бороться с болезнью всеми известными способами, решает не сам человек, а начальство (например, официальное противопоказание к вызову нейрохирургической бригады — возраст старше семидесяти лет), потом все кричат: «Куда только смотрит государство!» А государство — это милиционеры, что они понимают в медицине? Они и не могут иначе ее оценить, как по числу посещений, продол-

жительности пребывания в стационаре, количеству «высокотехнологичных» исследований и т. п. В общем, до революции в Тульской губернии был лишь один писатель, теперь их — три тысячи.

«Да кому мы нужны?» — говорит нестарая еще женщина, она перестала принимать назначенные мной мочегонные и вся отекла. — «Себе самой, родным». Машет рукой: «Вот в советское время...».

Отсутствие людей, способных выдерживать линию — в лечении больных, в разговоре, в самообучении, — заметно не только в районном городе, но и в областном, и в Москве. Недавно мы с коллегой были в двух главных областных больницах, одна — победнее — нам скорее понравилась (врачи тяжело работают, читают медицинские книги — к сожалению, только по-русски), другая же совсем не понравилась. Обе больницы, кстати, judenfrei, что лечебным учреждениям не идет (гибель отечественной медицины так и начиналась — с дела врачей; массовая эмиграция, уход активных людей на западные фармфирмы — все это было потом). Доктор Люба, красотка с длинными ногтями («Мы — клинические кардиологи», то есть делать ничего не умеем), ждет, что ее через год станут учить катетерной деструкции аритмий. Министр, сам не зная того, цитирует Сталина: «Незаменимых у нас нет». Я — ему, как могу, кротко: «А у нас есть». Эх, вспомнил бы лучше, что «кадры решают все». Как я не научусь играть «Мефисто-вальс», купи мне хоть новенький «Стейнвей», так и Люба не справится с аритмиями, даже когда спилит ногти. Начальству этого не понять: научим, в Москву пошлем, если надо — в Европу, в Америку. Не выйдет, на льдинах лавр не расцветет, никто в Америке не станет учить русский язык, чтобы потом рассказать Любе про аритмии (она английский «проходила в институте»). Потом мы ехали по пустой заснеженной дороге, было щемяще красиво, коллега немножко рассказывал из генетики, точнее — молекулярной биологии, а я смотрел по сторонам и думал: какие именно бедствия нас ждут? Какие бедствия ждут красивую пьяную женщину, без дела стоящую на перекрестке? Трудно сказать, какие-то — ждут. Может она образумиться, протрезветь и вернуться к детям или встретить хорошего человека?

Деньги. Главный миф, в реальность которого верят едва ли не все, — о решающей роли денег. Сплетня — двигатель провинциальной мысли — однообразна и скучна и вся сосредоточена на деньгах. Вокруг моего пребывания в городе N. ходят нелестные слухи, все они сопряжены с какой-то экономической деятельностью (несуществующей). В советское время слухи были бы иными: неприятности в Москве, желание ставить опыты на людях, связь с тайной полицией (такое обвинение еще страшнее), заграницей, жажда славы, семейные неурядицы — теперь такое никого не интересует. Кроме сребролюбия есть тщеславие, есть сласто- и властолюбие, но об

этих пороках забыли. Главный слух: москвичи купили больницу, скоро все станет платным. Какой бы легкой ни была рука, протянутая к людям, им все чудится, что она ищет их карман.

Идея денег в умах людей, особенно мужчин, производит большие разрушения. За деньги можно все — вылечиться самому, вылечить ребенка, мать. По этому поводу много тихого отчаяния. Причина гибели — невысказанная — такая, например: мать умерла, денег на лечение не было. Отчаяние подогревается телевизионным: «Тойота — управляй мечтой». А ты, ничтожество, не можешь заработать, на худой конец — украсть (чтобы мать вылечить, можно и украсть). Настоящие мужчины управляют мечтой, о них всегда думает «Тэфаль», об их зубах заботится «Дирол с ксилитом и карбамидом» (кстати, карбамид — это по-английски мочеви́на, ничего особенного). Деньги, конечно, нужны, на многое не хватает, но главная беда иная, не денежная.

ПУСТОТА. Оля М. поступила в больницу с отравлением уксусной эссенцией, с ожогом пищевода. (Осенью больница превратилась в разновидность «Англетера»: один прямо в палате удавился, другой выбросился из окна, третья дважды пыталась вешаться — все за два месяца.) До этого Оля пробовала резать себе вены. Ей двадцать восемь, выглядит на пятнадцать, работает в столовой уборщицей. Выросла в детском доме в Людиново, Калужская область. Живет в двухкомнатной квартире с мужем-алкашом, свекром-алкашом, чистенькой семилетней дочкой (с бантом, приходила навещать мать, перед этим первый день пошла в школу) и со свекровью, которая явно привязана к внучке. Попытался поговорить, но не очень получилось. Велел мужу вернуть ее паспорт, запер в сейф. Это было единственное мое осмысленное действие. Предлагал переехать (сам не знал куда, но что-нибудь бы придумал) — не хочет. Лежит скучает, ничего не читает, хотя говорит, что читать умеет. Подарил ей Евангелие — вернула (прочла, наверное, первое слово — «Родословие» и бросила). Устроил ее разговор с отцом К. — священником, замечательным, он приезжал ко мне лечиться из Москвы, — бесполезно, говорил один он, но Оля хотя бы заплакала. Собрали ей шмоток, потом невесть откуда появился новый мужчина, будет жить с ним, выписывается веселенькая.

Через два месяца поступает снова, была пьяная (говорит — только пива выпила, не похоже), разрешила себе живот, сильно, зашили. Уже выглядит грубее. Стонет от боли: «Блин, покашляла». По виду она — жертва, но дальше может совершить почти любое зло, например зарезать мужа, или девочку, или меня. Проще всего объявить Олю душевнобольной (хотя бреда и галлюцинаций у Оли нет, а вопрос, что такое душа, в психиатрии считается неприличным), но разве это что-нибудь объясняет? Смотришь на



Олю — и ясно, что зло не присуще человеку, а вступает, входит в него, заполняя пустоту, межклеточные промежутки. Зло и добро — разной природы, а сродство у пустоты именно со злом. (Недавно история Оли М. получила продолжение. В больницу поступил ее пьяница-муж. Получил резаную рану живота с повреждением тонкой кишки и подвздошной артерии. Говорит: ручка от мясорубки соскочила, он ударился о стол, на котором лежал нож и т. д.)

Случаются встречи и менее тяжкие. В городе N. много лучше, чем в Москве, относятся к гибнущим людям, в частности — бездомным. Недавно скорая в лютый мороз выехала забрать «криминальный труп». «Похоже, Саша Терехов наконец преставился», — так выразилась фельдшер. Пока ехали, живой труп сел в такси и явился в больницу имитировать одышку. Госпитализирован на «социальную койку», утром исчез. Другой бездомный, из давно обрусевших немцев, с тяжелой аортальной недостаточностью, живет в больнице уже три месяца: выписать его некуда. Внешне он из бомжа-алкаша превратился в мужчину приличного вида, с бородкой, палкой, не пьет. В больницу за это время поступала его бывшая жена, он просил задержать ее на подольше: к ней ходят детки (их общие). Взял семьдесят рублей на конверт, будет писать в Германию, немец все-таки, есть куда написать. В некоторых московских больницах имеется такая практика: через трое суток госпитализации сажать бродяг в автобус и отвозить подальше от больницы, есть и сотрудники, которые за это ответственные.

Остается и смешное, хотя оно все менее заметно, поскольку повторяется. На днях больная принесла мне в подарок трехлитровую банку с огурцами, нахваливает огурчики, я благодарю. Вдруг: «Максим Александрович, а как мы договоримся по поводу самой баночки?»

Активного, деятельного зла я не вижу совсем, только пустоту. В больничном сортире — обрывки кроссворда (и больные, и сотрудники помногу решают кроссворды): «жалкие люди», слово из пяти букв. Женским почерком аккуратненько вписано: НАРОД (по мысли авторов кроссворда, правильно — «сброд»). Всегда старался избегать этого слова, еще до приезда в N., но по многим поводам сильно заблуждался (Бродский о Солженицыне: «Он думал, что имеет дело с коммунизмом, а он имеет дело с человеком»). Нельзя относиться к так называемому «народу» как к малым детям: в большинстве своем это взрослые, по-своему ответственные люди. Во всяком случае, никакого ощущения потери, неосуществленных возможностей при тесном знакомстве с ними не возникает. Они и правда готовы жить лет пятьдесят—шестьдесят, а не столько, сколько на Западе, моста и правда «не было и не надо», они и правда Бетховену предпочитают дешевень-

кую попсу: на устроенный нами благотворительный концерт пришли почти исключительно дачники. (Кстати сказать, ненависть к классической музыке — при огромных в ней успехах — феномен необъяснимый. Моему товарищу-музыканту, попавшему в психиатрическую больницу, не разрешили пользоваться портативным проигрывателем — чтобы не слушал классическую музыку, которая сама уже есть шизофрения. Остальным больным — разрешают, потому что они слушают «нормальную» музыку, т. е. умца-умца.) Самый актуальный рассказ Чехова — «Новая дача», все-таки не «В овраге». Выбирают люди из своей среды — в условиях совершенно реального самоуправления — Лычковых.

Начальство (те, кому нельзя сказать «нет»). Простой советский человек и простой советский секретарь райкома были очень разными людьми. Сохраняется это деление и теперь. Лычков, съевший всех, кто ему мешал, да еще законно избранный, очень глуп, конечно, по меркам интеллигентного человека (а какие еще есть мерки?), но кое-что чувствует тонко. Говорю с ним, а в глазах у меня написано: «Мне так нужна твоя подпись, что я даже готов с тобой выпить». Выпить он не против, но не на таких условиях.

С начальством сопряжено множество историй, ни одна не порадовала, две — удивили. Первая: я попросил крупную западную фирму выписать счет на томограф (обещали купить благотворители) по его настоящей цене — за полмиллиона, а не за миллион долларов, без *отката*. Меня долго уговаривали: на разницу вы сможете купить еще приборов (ну да, а те тоже дадут откат — и так далее — до наволочек и хирургических игл). Оттого и появился в русском языке очень емкий глагол *проплатить*, то есть пропитать все деньгами. Затем выяснилось, что купить без отката нельзя: начальство окажется в ложном положении. Стало быть, не только можно ездить на красный свет, но это еще и единственная возможность доехать.

Вторая история случилась, когда я обратился к влиятельным знакомым-врачам с просьбой защитить меня от начальства. «Нет проблем. Скажи, кому звонить, все устроим». Спрашиваю, каким именно образом. «Честно говоря, мы обычно угрожаем физической расправой» (с помощью некогда вылеченных бандитов). Быстро сворачиваю разговор и завожу другой: про инфаркты, инсульты и прочие милые вещи.

Все это сильно меня опечалило, но потом я стал смотреть на дело иначе. Трудность не в том, что «ничего в этой стране нельзя сделать» (оказалось же, например, что в ней можно сделать революцию), а в том, что мой язык им так же не понятен, как мне — их. «Больной, что означает — не в свои сани не садись?» — «А я и не сажусь не в свои сани»; это из учебника психиатрии. Так же и мы с начальством. «Вы же человек государственный», —

говору я одному крупному деятелю. А он мне: «Государство — понятие относительное».

И тут — два пути. Первый — учить новый язык, что сложно и неохота, да и он так похож на родной, что можно все потом перепутать. Тут не только «я вам наберу», «повисите, пожалуйста», «это дорогого стоит», «будет востребовано», «реализация нацпроектов», «недофинансирование», «обречено на успех» — дело в системе понятий, способах доказательства. Сказанное мной, как кажется, совершенно не соответствует услышанному в ответ. У начальства то же впечатление, я думаю. Второй путь — жать все кнопки подряд, как в незнакомой компьютерной программе, это часто приносит успех. Вот и займемся.

*март 2007 г.*